Оправдание Гоголя

К 180-летию со дня рождения

Игорь ЗОЛОТУССКИЙ

Блестит вдали какой-то луч спасенья: святое слово ЛЮБОВЬ.

Н. ГОГОЛЬ

1

Начну со скорбного воспоминания. Пять лет назад, в день 175-летия со дня рождения Гоголя, я пришел на его могилу на Новодевичьем кладбище. Весна была поздняя, в ограде могилы стояла вода. Куски льда плавали в ней, перемешанные с обычным кладбищенским мусором — остатками искусственных цветов, выцветших лент, осыпавшейся хвои.

А на надгробной плите, которая уже подсохла и успела покрыться пылью, не лежало ни одного цветка, ни одной ветки, говорящих, что здесь кто-то был. Ни один писатель, ни один поэт, ни одна административная литературная голова не подумали, что в этот день надо прийти и поклониться Гоголю.

Зато через два часа я стоял среди толпы на Сивцевом Вражке, где в бывшем доме Аксаковых открывалась экспозиция, посвященная Гоголю. С крыльца дома, окруженного людьми, штатный советский сатирик зачитал что-то по бумажке о Гоголе, а выступивший вслед за ним министр — в который раз на нашем веку! — объявил, что в «Выбранных местах из переписки с друзьями» совершилось «падение» великого писателя.

А вечером того же дня те же действующие лица собрались в Колонном зале Дома союзов, чтоб похлопать речам о неразумном гении, который как будто все понимал, да вот, оказывается, не все, и мы — пусть постфактум, пусть посмертно — должны напомнить ему об этом.

Так было пять лет назад, а сегодня, похоже, и этого не предвидится: нет ни юбилейного комитета, ни высоких чинов, входящих в него, ни предусмотренных докладов, ни сатириков и министров, которых бы вспомнили, в какой стране они живут и кто составляет истинную славу ее.

Горько и больно, что у иных могил торжественная тишина, дорожки посыпаны песком, к ним кладут венки, их посещают почетные гости, а у других — где в благоговении должен застыть каждый мыслящий человек — запустение и проза смерти. Заросли грязью выбитые на надгробии Гоголя строки: «Горьким словом моим посмеюся».

Слова эти взяты из книги пророка Иеремии (гл. 20, ст. 8) и в каноническом переводе звучат так: «Ибо лишь только начну говорить я,— кричу о насилии, вопию о разорении, потому что слово Господне обратилось в поношение мне и в повседневное посмеяние».

Слава Богу, что хоть эта плита сохранилась, а то ведь все было пущено в расход: и прежняя могила, и крест на ней, и камень «Голгофа», поддерживающий крест.

Вместо креста выросла мраморная колонна с бюстом, и на колонне золотыми буквами было начертано: «Великому русскому художнику слова Николаю Васильевичу Гоголю от правительства Советского Союза».

Правда, крест и камень исчезли раньше, за двадцать лет до этого, когда по воле того же правительства тело Гоголя было вырыто из земли и перенесено с погоста Данилова монастыря, превращенного в детскую тюрьму, на новое место. Гоголь был насильно переселен туда, где он, может быть, и не хотел лежать.

Как свидетельствует «Акт об эксгумации писателя Н. В. Гоголя», хранящийся в ЦГАЛИ, на этой церемонии среди прочих присутствовали писатели, и сердце ни одного из них не дрогнуло, когда гроб не только извлекли из могилы, но и приказали вскрыть. А кто-то запустил руку в гроб и обворовал мертвого Гоголя, как последний тать.

Случилось это 31 мая 1931 года.

А еще через некоторое время то же насилие было совершено над памятником Гоголю работы скульптора Н. Андреева, почти полвека простоявшим на Пречистенском бульваре. Этого Гоголя поставил здесь народ, и деньги на памятник собирал народ: я сам видел подписные листы, где крестьяне, не умеющие писать, ставили против внесенной ими суммы крестик. Волею того же правительства он был заменен на другого Гоголя, более похожего на директора департамента, чем на писателя.

И эта перемена места не принесла успокоения андреевскому Гоголю. Двор, куда он был «сослан», превращен в проходной двор. Гоголь сидит в тени чахлых кустов (раньше по его бокам стояли старинные фонари), и у подножия его лепятся детские песочницы и качалки. А мимо, из Мерзляковского переулка на Суворовский бульвар и обратно, пробегают люди с сумками и кейсами, бесстрастно скользя взглядом и по памятнику Н. Андреева, и по дому, где жил и умер Гоголь.

Не раз приглашали сюда министра культуры В. Г. Захарова и председателя исполкома Моссовета В. Т. Сайкина (делая это любезное приглашение по телевидению): приезжайте, милостивые государи (пешком не пойдете), посмотрите, подивитесь и устыдитесь. Нет, не едут. Есть, наверное, более важные дела.

Кстати, «значительные лица» и при жизни Гоголя не вспоминали о нем. Царь называл Гоголя Гогелем и думал, что он (а не В. Соллогуб) написал «Тарантас».

Его, как и капитана Копейкина, министры не принимали, а ко двору он и вовсе не был допущен — не тот чин. И, однако же, обращаясь в письме к министру просвещения С. Уварову с просьбой защитить его от произвола цензуры, Гоголь напомнил тому, что хоть он и министр, а проситель всего лишь поэт, положение у них в истории разное. Ибо «бедному имени» поэта, как пишет Гоголь, может быть, «суждено достигнуть потомства».

И это говорили в нем не гордыня, не оскорбленное самолюбие, у которого не было другого способа защититься, а истинная вера в то, что поэт выше министра, выше царя, ибо ему дан дар слова, а слово — «подарок Бога человеку».

Это давняя идея Гоголя, высказанная им еще в ранней статье «Ал-Мамун» (1834 год) и потом развитая в «Выбранных местах из переписки с друзьями», где вопрос о поэте и власти, о власти гражданской и власти духовной занимает не последнее место.

Сама идея издания такой книги, где поэт брал бы на себя обязанность человека, судящего обо всех сторонах государственной жизни, о деятельности губернатора, министра, царя и при этом подавал бы им советы (одна из глав «Выбранных мест» так и названа—«Советы»), казалась в то время дерзостью.

Ибо что был тогда поэт в России? В глазах людей политики, людей правительства он был ничто. Он был тот же чиновник, стоящий на невидимой нижней ступени лестницы и вожделенно глядящий наверх в ожидании руководящих указаний.

Люди политики, люди власти считали, что они вершат судьбы мира, и потому они — первые, а все остальные — вторые, третьи, четвертые и т. д.

Гоголь в своей книге излечил их от этого самообольщения.

И именно поэтому его книга не понравилась ни при дворе, ни в царском доме. И именно поэтому целые главы из нее были выброшены цензурой.

Я думаю, стройному хору нашего литературоведения, твердящему вслед за Белинским, что Гоголь хотел этой книгой подыскаться к царю, желал каких-то выгод, пора перестать повторять, что эта книга— падение Гоголя, а признать, что она — подвиг Гоголя.

Сам царь не мог не смутиться, читая строки, обращенные к нему в главе «О лиризме наших поэтов»: «Там только исцелится вполне народ, где постигнет монарх высшее значенье свое — быть образом Того на земле, который сам есть любовь». Без этого условия — без исполнения царем земным наказов царя небесного — не мыслил себе Гоголь, что тот, кто обладает властью, имеет право на власть. В одном из вариантов книги было сказано еще определеннее: «Власть государя — явленье бессмысленное, если он не почувствует, что должен быть образом Божиим на земле».

2

Когда говорят и пишут о Гоголе, то всякий раз восхищаются его поэтическими творениями, его даром живописца, сатирика, юмориста, но при этом не то чтобы третируют, а стараются отставить в тень другую сторону таланта Гоголя — сторону пророческую, учительскую, проповедническую, которая дана ему была так же, как и способность через волшебное стекло видеть мир.

Даже В. Набоков, этот тонкий знаток и чтец текста Гоголя, в своем знаменитом эссе «Николай Гоголь», недавно явившемся у нас, отделяет метафоры Гоголя от самого Гоголя, его язык — от его идей. Он пишет, что феномен Гоголя — это феномен языка, а не идей, не принимая в расчет, что феномен Гоголя—еще и феномен сердца и именно поэтому Гоголь — великий русский писатель.

Как бы ни иронизировал В. Набоков над тем, что литература должна быть «познавательной, национальной, воспитательной или питательной, как кленовый сироп и оливковое масло», она в России всегда была такой — она делалась на миру и для мира, и раскол, проходивший по жизни, проходил по сердцу художника. «...Никак не в силах я писать мимо меня самого»,— говорил Гоголь, и эти слова могли бы повторить Достоевский, Лесков, Л. Толстой. Они выходили со своими вопросами на площадь, а не в гостиную. Русскую литературу всегда отличало высокое плебейство — она хотела и быть полезной, и учить, и пророчествовать на стогнах.

«Без Гоголя, — пишет другой автор русского зарубежья, К. Мочульский, — быть может, было бы равновесие, антология, благополучие; бесконечно длящийся Майков, а за ним бесплодие; после Гоголя — «полное неблагополучие», мировой размах и мировая слава». К. Мочульский добавляет, что Гоголю был присущ «магический идеализм» в отношении искусства, что Гоголь считал, будто искусство способно пересоздать жизнь, переделать ее согласно идеалу поэта. Эти требования к искусству поднимали его до задач, приближающихся к задачам религии, но Гоголь и не отрицал этого. Он прямо писал, что поэзия — это незримая ступень к христианству.

Как, однако, совместить эту высокую цель со смехом Гоголя, с его даром иронии, насмешки над человеком, над его несовершенством, в котором тот, впрочем, не виноват? Как вознести в эти горния Акакия Акакиевича и Поприщина, Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича, Ивана Федоровича Шпоньку, старосветских помещиков? Или Хлестакова и Чичикова?

Гоголь видит только один путь — это путь любви.

В записных книжках Гоголя, относящихся ко времени писания второго тома «Мертвых душ», есть такие строки: «Боже, дай полюбить еще больше людей. Дай собрать в памяти своей все лучшее в них, припомнить ближе всех ближних и, вдохновившись силой любви, быть в силах изобразить».

Это похоже на слова молитвы, но именно такие молитвы и составлял для себя Гоголь, веря, что они поддержат его и в путешествии, и при писании, и при приступах уныния духа. В той же записной книжке читаем: «Филарет о русском народе: «В нем света мало, но теплоты много».

Вопрос о свете — коренной вопрос для Гоголя. Вспомним, как Левко в «Майской ночи», отыскивая среди русалок ведьму, безошибочно находит ее: «тело ее не так светилось, как у прочих: внутри его виделось что-то черное». «Страшна душевная чернота, — восклицает Гоголь в «Завещании», открывающем «Выбранные места из переписки с друзьями», — и зачем видится это только тогда, когда неумолимая смерть уже стоит перед глазами!»

Фото Ф. ЕВГЕНЬЕВА

Тема черноты душевной — тема и «Страшной мести», и «Вия», и «Записок сумасшедшего», и «Портрета», и «Мертвых душ». «...Полюби нас черниньким,— говорит Чичиков во втором томе, — а белинькими нас всякой полюбит». Полюбить людей «черниньким» для Гоголя значит спасти их от черноты, избавить от черноты, изгнать ее из их душ.

И как это сделать? Поучением, смехом или личным примером? Гоголь считает, что прежде всего личным примером. Летом 1850 года, посещая Оптину пустынь, он делится своими сомнениями с иеромонахом обители и, прося у того защиты, пишет о себе: «...я всех грешнейший и недостойнейший». Он просит молиться за него, ибо Христос «силен, милосердый, сделать все и меня, черного, как уголь, убелить и возвести до той чистоты, до которой должен достигнуть писатель, дерзающий говорить о святом и прекрасном».

Таким образом, Гоголь не отделяет задач, которые стоят во втором томе перед его героями, — задач очищения и просветления от себя самого и от своей жизни.

Жизнь Гоголя и есть в этом смысле пример. Она вся — оправдание его максим, как и многие писания Гоголя — оправдание перед читателями за собственный смех.

В «Театральном разъезде» он оправдывается за «Ревизора», в предисловии ко второму изданию «Мертвых душ» — за «Мертвые души», в «Развязке «Ревизора» — вновь за «Ревизора», а в «Выбранных местах из переписки с друзьями» — за всю свою жизнь и за все творчество. Не обошлось и без оправдания за «Выбранные места»: им стала «Авторская исповедь».

В этой исповеди он, между прочим, писал: «...я думал, что в некоторой части читателей есть какая-то любовь. Я не знал еще тогда, что мое имя в ходу только затем, чтобы попрекнуть друг друга и посмеяться друг над другом. Я думал, что многие сквозь самый смех слышат мою добрую натуру...»

Смех Гоголя и по сей день принимают за нечто похожее на смех Свифта или Щедрина. В нем слышат посвисты Ювеналова бича. Но он мягок, этот смех, и он «светел», как утверждал Гоголь. Он весь излетает из светлой природы поэта.

И положа руку на сердце спросим себя: разве это не так? Разве смех Гоголя тянет нас в глубину омута, в глубину черноты человеческой, а не возносит, не поднимает над ними и над самою смертью? Потому что на пути смеха Гоголя встает неумолимая стена — смерть. Кажется, об нее должны разбиться и смех, и веселье, и сама радость жизни, играющая в смехе.

Но не ей ли, этой старухе с косой, бросает вызов Гоголь своим смехом? Не через ее ли темные владения перелетает смех Гоголя, перенося человека в бессмертие? «Душа человека бессмертна!» — воскликнул московский цензор, отвергая название поэмы Гоголя. И что самое смешное — он думал так же, как автор. Автор нарисовал на обложке своей поэмы все этажи «комедии жизни» — наверху скачущие тройки, блюда с угощениями, рюмки и бутылки, а внизу виньетка с черепами — неминуемый, ждущий человека конец. Но и через эту черту смерти перелетает смех Гоголя, как проносится мимо похорон прокурора в конце первого тома «Мертвых душ» тройка Чичикова, обращаясь затем мановением жезла Гоголя в тройку-Русь.

Так что и вопрос мужиков, стоящих у дверей кабака в тот момент, когда бричка Чичикова въезжает в город, доедет ли чичиковское колесо до Казани и до Москвы или не доедет, не празднен, не пуст, не случаен, он в шифре поэмы означает слишком многое: доедет ли тройка Чичикова (а вместе с нею и Чичиков) до бессмертия или нет?

3

Все это объясняет и тон, и начало, и финал следующей за первым томом книги Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями». Они начинаются с «Завещания», со слов о смерти и завершаются главой «Светлое Воскресенье», где речь идет не только о празднике Пасхи в России, но и о воскрешении души. Волей-неволей я то и дело поминаю эту книгу и ссылаюсь на нее, потому что она по-прежнему менее всего читаема, менее всего известна (ее стали включать в собрания сочинений Гоголя только несколько лет назад) и за ней вот уже почти полтораста лет тянется недобрая слава какого-то проступка, ошибки, какой-то стыдной страницы в истории русской литературы.

Меж тем, может быть, с этой книги надо начинать читать сегодня Гоголя. Если Гоголь «Вечеров», «Ревизора», «Арабесок» и «Мертвых душ», Гоголь «Миргорода», «Женитьбы», «Тяжбы» и «Тараса Бульбы» почитаем и принят, то эта книга все еще сопровождается осторожными комментариями, написанными так, как будто авторы боятся обидеть резко отозвавшегося о ней Белинского.

Оценка Белинского и Герцена (присоединившегося к заключению, что она — падение Гоголя) как передовых людей века все еще довлеет над несчастной «Перепиской». И ни возражения Толстого, ни высокое суждение о ней А. Блока (а до них П. Чаадаева и И. Аксакова) не могут изменить положения.

Но прочтите ее сейчас, и вы увидите, что, «имея ухо слышать вперед», поэт в ней прозрел многие «страхи и ужасы России», которые потрясли ее в XX веке.

Он прозрел, что понятие «свет» будет заменено в ней понятием «просвещение», что свет науки, свет учебников, свет формул погасит сияние света души, света любви. Гоголь предупреждал, что упования на непомерную веру в науку приведут лишь к гордыне ума. Он писал: «...ум идет вперед, когда идут вперед все нравственные силы в человеке, и стоит без движенья и даже идет назад, когда не возвышаются нравственные силы». Еще до Достоевского, выбравшего себе в оппоненты Бюхнера и Молешотта, он сказал: «Поразительно: в то время, когда уже было начали думать люди, что образованьем выгнали злобу из мира, злоба другой дорогой, с другого конца входит в мир, — дорогой ума...»

«Гордость ума» и гордость «чистотой своей», дошедшие до «страшного духовного развития», — вот две опасности, которые стоят рядом. Человек, уверовавший в чистоту свою, в чистоту и превосходство своей идеи, готов ради этой идеи (и ее «чистоты») погубить полчеловечества. «Уже и умные люди начинают говорить ложь противу собственного своего убеждения, из-за того только, что гордость не позволяет сознаться перед всеми в ошибке — уже одна чистая злоба воцарилась наместо ума».

Мы помним жалостливый возглас Акакия Акакиевича, который послышался молодому чиновнику, видящему, как издеваются над Башмачкиным его сослуживцы: «Я брат твой». Так вот этих слов не признает гордый ум. «Все человечество готов он обнять, как брата, а брата не обнимет. Отделись от этого человечества, которому он готовит такое великодушное объятье, один человек, его оскорбивший, которому поведевает Христос в ту же минуту простить, — он уже не обнимет его. Отделись от этого человечества один несогласный с ним в каких-нибудь ничтожных человеческих мненьях,— он уже не обнимет его...»

Так что не курсом наук и не учебниками можно приблизить человека к свету, а внушеньем любви к такому же, как он, человеку, который стоит не далеко от него, а близко. Ибо легко любить дальнего и нелегко любить ближнего. «Просветить,— пишет Гоголь,— не значит научить, или наставить, или образовать, или даже осветить, но всего насквозь высветлить человека во всех его силах, а не в одном уме, пронести всю природу его сквозь какой-то очистительный огонь... Недаром архиерей, в торжественном служении своем, подъемля в обеих руках и троесвещник, знаменующий Троицу Бога, и двусвещник, знаменующий его сходившее на землю слово в двойном естестве его, и Божеском и человеческом, всех ими освещает, произнося: Свет Христов освещает всех!»

В делах просвещения Гоголь видит первой обязанностью просветить «прежде грамотных, чем безграмотных», просветить сначала тех, кто поставлен просвещать народ. Потому что, не сделавши этого, не добьешься успеха и в просвещении народа.

Гоголь как-то обмолвился в одном из писем, что русские привыкли строить без база. Баз — это основа, прочность и твердость двора и дома, семьи и государства. На непрочной основе, на зыбкой почве, на шатающемся фундаменте ничего не выстроишь, а фундамент этот строится из традиции, из верности заветам предков. Предки же завещали каждому из нас делать свое дело на своем месте.

Честный труд на своем месте — одна из сквозных идей «Выбранных мест из переписки с друзьями». Тем более что составлена эта книга из писем, обращенных к людям, каждый из которых профессионально занимается каким-то делом: один пишет стихи, другой руководит губернией, третий создает картины, четвертый священствует, пятый ведет хозяйство в деревне.

Всякое отклонение от своих обязанностей, всякие метания и перескоки на чужое дело — дело, которое ты не умеешь и не желаешь делать, а исполняешь лишь по необходимости, губят личную и государственную жизнь, вносят в нее бессмысленность «путаницы».

Особенно Гоголь останавливается на фигуре «секретаря-посредника» в разных делах, в том числе в делах искусства, который сует нос не в свое дело и мешает знающему работнику.

Губителей «база», губителей прочности жизни Гоголь видит в людях «односторонних», людях-«фанатиках» («Односторонние люди и притом фанатики — язва для общества, беда той земле и государству, где в руках таких людей очутится какая-либо власть») и таких вот «секретарях».

Вот как выглядит деятельность этих секретарей по управлению искусством: «Выходит инструкция для художника, писанная вовсе не художником; является предписанье, которого даже и понять нельзя, зачем оно предписано». «Нужно, — продолжает Гоголь, — чтобы в деле какого бы то ни было мастерства полное его производство упиралось на главном мастере того мастерства, а отнюдь не каком-нибудь пристегнувшемся сбоку чиновнике, который может быть только употреблен для одних хозяйственных расчетов... Только сам мастер может учить своей науке, слыша вполне ее потребности, и никто другой».

Главный тезис книги Гоголя, входящий в противоречие с тезисами радикалов — сторонников насильственного переустройства жизни, — состоит в том, что не революциями и разрушениями преобразуется общество, не переменой внешних обстоятельств, а переменами во внутреннем мире человека.

Отвечая Белинскому на его гневное письмо по поводу «Выбранных мест», Гоголь писал: «...Общество образуется само собою, общество слагается из единиц. Надобно, чтобы каждая единица исполнила должность свою... Нужно вспомнить человеку, что он вовсе не материальная скотина, но высокий гражданин высокого небесного гражданства. Покуда он хоть сколько-нибудь не будет жить жизнью небесного гражданина, до тех пор не придет в порядок и земное гражданство».

Спор Гоголя с Белинским предвосхищает споры Достоевского и Лескова с нигилистами, споры Л. Толстого с революционерами. Тут на одной позиции бомбометатели и приверженцы изменения основ общества с помощью силы, на другой — философы самосовершенствования, противники крови, противники насилия.

«Вы говорите, что спасенье России в европейской цивилизации, — пишет Гоголь Белинскому. — Но какое это беспредельное и безграничное слово. Хоть бы вы определили, что такое нужно разуметь под именем европейской цивилизации, которое бессмысленно повторяют все. Тут и фаланстерьен, и красный (в другом варианте: «коммунист ли, фаланстерьен». — И. З.), и всякий, и все друг друга готовы съесть, и все носят такие разрушающие, такие уничтожающие начала, что уже даже трепещет в Европе всякая мыслящая голова и спрашивает невольно, где наша цивилизация?»

Другое место из письма касается пункта о церкви — одного из главнейших пунктов манифеста Белинского: «Вы отделяете церковь от Христа и христианства, ту самую церковь, тех самых... пастырей, которые мученической своей смертью запечатлели истину всякого слова Христова, которые тысячами гибли под ножами и мечами убийц, молясь о них, и наконец утомили самих палачей, так что победители упали к ногам побежденных, и весь мир исповедал это слово... Кто же, по-вашему, ближе и лучше может истолковать теперь Христа? Неужели нынешние коммунисты и социалисты, объясняющие, что Христос повелел отнимать имущества и грабить тех, которые нажили себе состояние. Опомнитесь!»

Никто, прочитав эти строки, не скажет, что Гоголь не понимал состояния современной ему России, был далек от него. Гоголь выступает в этих предсказаниях как предтеча автора «Бесов» и «Дневника писателя», автора, вышедшего не только из гоголевской «Шинели», но прежде всего из «Выбранных мест из переписки с друзьями» и спора Белинского с Гоголем.

4

Какие бы излишества, какие бы преувеличения ни присутствовали в этой книге Гоголя (а они есть и идут не от злого намерения, а от увлечения предметом), это книга праведная. Судите сами: гениальный писатель, человек, которого общество признало своим вождем, своим духовным учителем и разрешило ему «клеймить» его недостатки, вдруг покидает воздвигнутое для него возвышение и, опускаясь долу, просит у людей прощения за свои грехи. «Лучше ли мы других народов?.. Никого мы не лучше, — говорит Гоголь. — а жизнь еще неустроенней и беспорядочней всех их». Но и я, писатель, говорящий это в лицо своим соотечественникам, ничуть не лучше любого из них, я вижу свои «мерзости», свое самолюбие и объявляю об этом открыто.

Гоголь не юродствует, не рисуется, не играет роль на театре, а искренне отворяет дверь своей душевной кельи, чтобы в ответ получить столь же искреннее исповедание.

Разве это не благородство, разве это не святость? Назовите мне хоть одного современного автора, который мог бы о себе сказать так — никого я не лучше, а хуже других, кто способен был бы возвыситься до сознания хотя бы своего временного поражения, а Гоголь после «Выбранных мест из переписки с друзьями» признался: «Я размахнулся в моей книге таким Хлестаковым...»

Нет, не вижу я подобных примеров, не наблюдаю их.

Поступок Гоголя — выход за пределы «заколдованного круга» литературы, выход с глубоко личными признаниями к народу — и по сию пору кажется кому-то нонсенсом, чуть ли ни сумасшествием. Меня, во всяком случае, часто спрашивали, не сошел ли в конце жизни Гоголь с ума.

Такой же загадкой кажется и его смерть, сожжение второго тома «Мертвых душ», где он хотел показать «прекрасного человека», да вот не смог, не успел. Он все не находил черт этого человека в себе, и терзался, и переписывал, переписывал, переписывал.

Не все из того, что хотел сжечь Гоголь, полетело в огонь: остались главы второго тома «Мертвых душ», остался черновик «Размышлений о Божественной литургии», остались письма Пушкина. Их Гоголь не мог уничтожить, не имел сил: Пушкин был для него святыней, единственным человеком в России, авторитет которого он признавал над собой.

Сама эта любовь Гоголя к Пушкину, почитание Пушкина — а Пушкин в «Выбранных местах из переписки с друзьями» стоит на втором месте после Христа — говорят о чистоте сердца Гоголя, о том, что это «прекрасное сердце», как сказал Лев Толстой.

Гоголь умер, не оставив после себя никакого состояния, ничего, кроме книг, портфеля с бумагами и того облика «мученика высокой мысли» (слова С. Т. Аксакова), который запечатлелся в памяти его современников.

И когда он оставил этот свет — оставил сознательно, а не по велению какой-то болезни, оставил, потому что считал, что «сослужил свою службу» и исполнил все, что мог,—сомкнувшаяся над его гробом Россия поняла, что он и был тот прекрасный человек, которого — казалось бы, тщетно — пыталась изобразить его кисть.